

Альбер Камю

Кириллов

Всех героев Достоевского тревожит вопрос о смысле жизни. Именно в этом их современность: они не боятся показаться смешными. Современное мироощущение тем и отличается от мироощущения классического, что это последнее питается проблемами моральными, тогда как первое — проблемами метафизическими. В романах Достоевского вопрос о смысле бытия ставится с той напряженностью, которая обязывает к крайним решениям. Жизнь — ложь, или она вечна. Ограничясь Достоевским исследованием этого вопроса, он был бы философом. Но он рисует, к чему приводят такого рода духовные игры отдельного человека, и тут он — художник. Среди возможных последствий его внимание привлекает крайность, которую сам он в «Дневнике писателя» именует логическим самоубийством. Действительно, в декабрьском * выпуске 1876 года он представляет себе, какие размышления подводят к «логическому самоубийству». Уверившись в совершенной абсурдности человеческого существования для того, кто не верит в бессмертие, человек впадает в отчаяние и приходит к следующим выводам:

«Так как на мои вопросы о счастьи я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах — [...]»

...Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным. То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание — вместе со мною на уничтожение...»

В этой позиции есть еще доля юмора. Самоубийца кончает с собой потому, что в плане метафизическом он *обижен*. В некотором смысле, он мстит за себя. Таков его способ доказать: «меня

* Камю ссылается неточно, цитата, им приведенная, относится к октябрю 1876 г. — Прим. перев.

не проведешь». Известно, однако, что та же тема воплощена с замечательной полнотой в Кириллове, персонаже «Бесов», который обосновывает логическое самоубийство. Инженер Кириллов заявляет где-то, что он хочет лишить себя жизни, потому что «такая у меня мысль». Эти слова следует понимать буквально. Он готовится к смерти во имя определенной мысли, определенной идеи. Это самоубийство высшего порядка. Постепенно, на протяжении ряда сцен, во время которых маска Кириллова мало-помалу освещается, нам становится яснее и воодушевляющая его мысль о смерти. Инженер действительно подхватывает рассуждения «Дневника». Он чувствует, что Бог необходим, а потому должен быть. Но знает, что его нет и быть не может. «Неужели ты не понимаешь,— восклицает он,— что из-за этого только одного можно застрелить себя?» Из такой позиции вытекают некоторые последствия абсурдного порядка. Он равнодушно соглашается, чтобы его самоубийство было использовано на пользу дела, которое он презирает. «Я определил в эту ночь, что мне все равно». Наконец, готовится он к своему поступку со смешанным чувством протesta и свободы: «Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою». Это уже не месть, но бунт. Кириллов, следовательно,— герой абсурда, с той, однако, существенной оговоркой, что он кончает с собой. Но он сам объясняет это противоречие, и его объяснение раскрывает тайну абсурда во всей ее чистоте. И действительно, наряду с логикой, требующей смерти, им движет безмерно честолюбивый замысел, в перспективе которого нам и предстает весь персонаж: он хочет убить себя, чтобы стать богом.

Умозаключение классически ясно. Если Бога нет, Кириллов — бог. Если Бога нет, Кириллов должен себя убить. Следовательно, чтобы стать богом, Кириллов должен себя убить. Логика абсурдна, но это и требуется. Любопытно, однако, выяснить, в чем же смысл такого божества, низведенного с неба на землю. Иными словами, разобраться в посылке: «Если Бога нет, я — бог», которая пока остается довольно темной. Важно отметить прежде всего, что человек, выражавший такого рода безумные претензии, вполне от мира сего. По утрам он делает гимнастику, чтобы укрепить свое здоровье. Его трогает радость Шатова, когда к тому возвращается жена. На бумаге, которая должна быть найдена после его смерти, Кириллову хочется нарисовать рожу, показывающую «им» язык. Он ребячлив и вспыльчив, страстен, педанчен и чувствителен. От сверхчеловека у него только логика и навязчивая идея, от человека — множество разнообразных качеств. И именно он спокойно говорит о своем божестве. Он не безумен — или же безумен сам Достоевский. Значит, им движет не бред, порожденный манией величия. И в данном случае было бы смешно понимать его слова буквально.

Разобраться в этом нам помогает сам Кириллов. Отвечая на вопрос Ставрогина, он уточняет, что имеет в виду не богочеловека.

Из этого можно было бы заключить, будто он стремится таким образом отделить себя от Христа. Но в действительности он приобщает его к себе. В самом деле, Кириллов представляет на минуту, будто умерший Христос *не попал в рай*. И тут понял бесполезность своих мук. «Законы природы,— говорит инженер,— заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь». Только в этом смысле Иисус воплощает всю человеческую трагедию. Он совершенный человек, поскольку он — тот, в ком реализовался предельно абсурдный удел. Он не богочеловек, а человекобог. И, подобно ему, каждый из нас может быть распят и обманут — и в известной степени это действительно происходит с каждым.

Божество, о котором здесь идет речь, следовательно, вполне земное. «Я три года искал атрибут божества моего,— говорит Кириллов,— и нашел: атрибут божества моего — Своеволие». Теперь мы видим, в чем смысл посылки Кириллова: «Если нет Бога, то я Бог». Стать богом — это попросту стать свободным здесь, на земле, а не служить бессмертному существу. И главное, разумеется, сделать все выводы из этого мучительного своеволия. Если Бог есть, то вся воля его, и «из его воли мы не можем». Если нет, то вся воля паша. Для Кириллова, как для Ницше, убить бога — значит самому стать богом, осуществить на земле ту вечную жизнь, о которой говорится в Евангелии *.

Но если этого метафизического преступления достаточно, чтобы человек осуществил себя, зачем же самоубийство? Зачем стреляться и покидать сей мир, если свобода уже завоевана? Здесь есть противоречие. Кириллов это понимает, поскольку он добавляет: «Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе». Но людям это не известно. Они «этого» не чувствуют. Как во времена Прометея, они питаются пустые надежды **. Они нуждаются в том, чтобы им указали путь, и не могут обойтись без проповеди. Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен указать братьям царственный и трудный путь, первым вступив на него. Это педагогическое самоубийство. Таким образом, Кириллов приносит себя в жертву. Однако если он и распят, обманут он не будет. Он — человекобог, убежденный, что после смерти нет ничего, проникнутый евангельской тоской. «Я несчастен,— говорит он,— ибо обязан заявить своеволие». Но после его смерти люди наконец поймут и станут царями на земле, где воссияет слава человека. Выстрел Кириллова подаст сигнал к последней революции. Так что его толкает на смерть не отчаяние, а любовь к ближнему. Перед самым кровавым финалом своей немыслимой духовной эпопеи Кириллов произносит слова, древние, как само человеческое страдание: «Все хорошо».

* Ставрогин: «Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?» Кириллов: «Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную».

** «Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы не убить себя; в этом вся всемирная история до сих пор».

Итак, тема самоубийства у Достоевского — действительно тема абсурда. Прежде чем пойти дальше, отметим только, что с Кирилловым перекликаются другие персонажи, в свою очередь выдвигающие другие темы абсурда. Ставрогин и Иван Карамазов испытывают истины абсурда на практике. Это их освобождает смерть Кириллова. Они пытаются быть царями. Ставрогин ведет «ироническую» жизнь, хорошо известно, какова она. Он возбуждает у окружающих ненависть к себе. Однако ключевые слова к этому персонажу — в его прощальном письме: «Я ничего не мог возненавидеть». Он царь равнодушия. Как и Иван, который отказывается отречься от царственной власти ума. Тем, кто, подобно его брату, самой своей жизнью доказывает, что вера требует смиренния, он мог бы ответить, что считает это требование недостойным. Ключевые слова Ивана: «все позволено» — с надлежащей грустной интонацией. Разумеется, подобно Ницше, самому прославленному из убийц Бога, он кончает безумием. Но это риск, на который приходится идти, и перед лицом такого рода трагических финалов абсурдный ум склонен прежде всего спросить: «Что же это доказывает?»

Итак, романы, равно как и «Дневник», ставят проблему абсурда. Они утверждают логику — вплоть до смерти, восторг, «ужасную» свободу, славу царей, ставшую славой человека. «Все хорошо», «все позволено», «нет ничего ненавистного» — суждения абсурдные. Но какое же творческое чудо преображает эти создания из огня и льда в людей, которые кажутся нам такими знакомыми! Страстный мир равнодушия, грохочущий в их душе, вовсе не кажется нам чудовищным. Мы узнаем в нем свои привычные томления. И никому, конечно, не удавалось придать абсурдному миру такой понятной и такой мучительной притягательности, как Достоевскому.

Каков же, однако, его конечный вывод? По двум цитатам видно, как метафизическое опрокидывание подводит писателя к совершенно иным откровениям. Поскольку рассуждение о логическом самоубийстве вызвало протесты в критике, Достоевский в последующих выпусках «Дневника» развивает свои взгляды, заключая их следующим выводом: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого (что без него человек приходит к мысли о самоубийстве), то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и само бессмертие души человеческой существует несомненно». С другой стороны, па последних страницах своего последнего романа, в финале этой титанической схватки с Богом, дети спрашивают у Алеша: «Карамазов, [...] пеужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем и увидим оять друг друга?..» И Алеша отвечает: «Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было».

Значит, Кириллов, Ставрогин и Иван потерпели поражение. «Братья Карамазовы» — ответ «Бесам». И именно это конечный вывод. В случае с Алешей нет той двусмысленности, которая есть в князе Мышкине. Человек больной, этот последний живет в нескончаемом настоящем, с его переходами от улыбок к равнодушию, это блаженное состояние и могло бы быть той вечной жизнью, о которой говорит князь. Алеша, напротив, выражается совершенно недвусмысленно: «Непременно увидим». Тут уже нет и речи о самоубийстве или безумии. Зачем они человеку, убежденному в бессмертии и его радостях? Человек отдает свое божество в обмен на счастье. «Весело, радостно расскажем друг другу все, что было». Значит, выстрел Кириллова прогремел где-то в России, но мир продолжал лелеять свои слепые надежды. Люди «этого» не поняли.

Следовательно, с нами говорит романист не абсурдный, а экзистенциальный. И этот резкий переход нас тоже волнует, сообщая величие искусству, им вдохновленному. Приятие здесь трогательное, проникнутое сомнениями, неуверенное и пылкое. Говоря о «Карамазовых», Достоевский писал: «Главный вопрос, который проводится во всех частях,— тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь,— существование Божие» *. Трудно поверить, что достаточно было одного романа, чтобы претворить в радостную очевидность муки всей жизни. Один из комментаторов справедливо замечает: «Достоевский несет в себе Ивана, и именно поэтому позитивные главы «Карамазовых» потребовали от него трех месяцев упорных усилий, тогда как то, что он именует «богохульствами», было написано всего за три недели в порыве вдохновения. Среди персонажей Достоевского нет ни одного, в ком не сидела бы эта заноза и кто не теребил бы ее или не искал забвения в чувственности или безнравственности» **. Останемся при этом сомнении. Перед нами творчество писателя, в светотени которого борьба человека с собственными надеждами выступает более рельефно, чем в самом дневном свете. Дойдя до последней черты, творец совершает свой выбор, противоборствуя собственным героям. Это противоречие позволяет нам внести поправку. Мы имеем дело не с абсурдным творчеством, но с творчеством, в котором ставится проблема абсурда.

Ответ Достоевского — унижение, «стыд», как выражается Ставрогин. Абсурдное произведение, напротив, не дает никакого ответа, вот и вся разница. Отметим в заключение: в спор с абсурдом вступает не христианский характер творчества Достоевского, а то, что оно возвещает бессмертие. Можно быть христианином

*Камю ошибочно относит это высказывание к «Братьям Карамазовым». Достоевский пишет это Майкову 25. III. 1870 г. в связи с неосуществленным романом «Житие великого грешника». — Прим. перев.

** Любопытная и проницательная ремарка Андре Жида: «Почти все герои Достоевского полигамны».

и человеком абсурда. Есть христиане, не верующие в потустороннюю жизнь. Что касается художественного произведения, можно было бы уточнить один из подходов к его анализу с позиций абсурда, предоштутимый на предыдущих страницах. Он подводит к вопросу об «абсурдности Евангелия». Он освещает плодотворную и многообещающую идею, что убеждения не исключают неверия. Напротив, мы видим, как автор «Бесов», проторивший эти пути, в итоге выбирает совершенно иное направление. Поразительный ответ творца своим героям, Достоевского — Кириллову, можно действительно резюмировать в следующих словах: жизнь — ложь, и она — вечна.

1942